

Владимир Соловьев

Особое чествование Пушкина.

Столетний юбилей Пушкина застал меня в Швейцарии, в местечке, называемом Уши и составляющим приозерное предместье города Лозанны. Я приехал туда за несколько дней перед тем из приморского города Канн, где прожил около двух месяцев в гостях у одного дружеского русского семейства. В Уши я также поместился в ближайшем соседстве с этими друзьями. Накануне юбилейного дня у нас был разговор о том, как жалко, что никто не захватил за границу сочинений Пушкина и что в Лозанне невозможно достать ничего, кроме запрещенного издания с наполовину подложными и более чем наполовину непристойными стихотворениями. Таким образом, мы были лишены единственного и наилучшего способа помянуть Пушкина чтением его творений. В полдень 26 или 27 мая входит в мою комнату почтальон с толстой бандерольной посылкой и заказным письмом. И то и другое - от редакции "Мира искусства". Читаю письмо и сначала ничего не понимаю. Редакция, препровождая мне полное собрание сочинений Пушкина, торопит прислать к началу мая статью или заметку о Пушкине для юбилейного выпуска журнала. После не

213

скольких минут недоумения смотрю на пометку числа отправления (с чего, конечно, следовало бы начать) и вижу что-то вроде 6 или 9 апреля. На конверте и на бандероли тоже какие-то апрельские числа и на петербургском, и на каннском штемпеле. Вспоминаю, что действительно перед отъездом дал условное обещание постараться что-нибудь написать, но за невозможностью достать в Канне Пушкина считал себя от этого обещания свободным. Но почему каннская почта, которую я своевременно известил о своем тамошнем и вовсе не извещал о лозаннском адресе, - почему она держала эту посылку более месяца и почему вдруг ее отправила, и как раз в пушкинские дни, - это оставалось непонятным. Материальные причины этой странности и до сих пор мне неизвестны, хотя, разумеется, они были. "Конечная" же "причинность" или "целесообразность" этого маленького происшествия оказалась несомненная, и притом двойная. Это, впрочем, выяснилось для меня лишь впоследствии, по возвращении в Россию. А пока можно было только радоваться, что и нам с друзьями пришлось подобающим образом помянуть *dona Dei per poetam**.

Несколько вечеров кряду - кажется, всю юбилейную неделю - читал я Пушкина вслух и прочел, таким образом, все лучшие его творения. Вернувшись в Россию, я познакомился с No 13 -14 названного художественного журнала. Текст этого No посвящен весь Пушкину и его юбилею и составлен четверьмя писателями: г. Розановым ("Заметка о Пушкине"), г. Мережковским ("Праздник Пушкина"), г. Минским ("Заветы Пушкина") и г. Сологубом** ("К всероссийскому торжеству"). В заметке г. Розанова, увенчанной изображением дракона с вытянутым жалом, Пушкин объявлен поэтом бессодержательным, ненужным для нас и ничего более нам не говорящим, и это поясняется через противопоставление ему Гоголя, Лермонтова, Достоевского и Л. Толстого. Почему-то, говоря об этих четырех писателях и называя их всех четырех, то вместе, то порознь, г. Розанов упорно считает их тремя: "эти три", "те три". Оказия сия, по мне, уж не нова. Ведь исторический роман Александра Дюма-отца, описывающий похождения четырех мушкетеров, почему-то называется "Три мушкетера". Но кого же из четырех писателей г. Розанов ставит не в счет? В самом конце своей заметки он действительно называет вместе только трех: Достоевского, Поэтический подарок богов (лат.). - Ред.

** Псевдоним.

214

Толстого, Гоголя. Выкинут, значит, Лермонтов. Но немного выше (стр. 7), сделав выписку именно из Лермонтова, г. Розанов замечает: "Да, они все, т. е. эти три, были пьяны*". Значит, в числе трех считается и четвертый Лермонтов, и твердым остается убеждение г. Розанова, что четыре есть три. Но это, конечно, не важно. Любопытно, в чем найдена противоположность между Пушкиным и этими четверьмя (они же и три) писателями. Чтобы не обидеть как-нибудь нечаянно г. Розанова, я приведу целиком главное место его заметки:

"Душа не нудила Пушкина сесть, пусть в самую лучшую погоду и звездно-уединенную ночь, за стол, перед листом бумаги; тех трех - она

Соловьев В. Особое чествование Пушкина filosoff.org
нудила, и собственно абсолютной внешней свободы, "в Риме", "на белом свете", они искали как условия, где их никто не позовет в гости, к ним не придет в гости никто. Отсюда восклицание Достоевского, через героя – автора "Записок о Мертвом доме" – об этом испытанном им Мертвом доме: "Едва я вошел в камеру (острог), как одна мысль с особенным и даже исключительным ужасом встала в душе моей: я никогда больше не буду один... долго, годы не буду".

"... и язык

Лепечет громко, без сознания
Давно забытые названья;
Давно забытые черты
В сиянье прежней красоты
Рисует память своевольно:
В очах любовь, в устах обман,
И веришь снова им невольно
И как-то весело и больно
Тревожить язвы старых ран...

Тогда пишу {3}.

"Что пишу", что "написал"? Даже не разберешь: какой-то набор слов, точно бормотанье пьяного человека**. Да, они все – т. е. эти три – были пьяны, т. е. опьянены, когда Пушкин был существенно трезв. Три новых писателя, существенно новых – суть оргиасты*** в том значении и, как так как опрометчивая редакция "Мира искусства" ошибочно упрекала меня, будтов целях осмеяния г. Розанова я обрезал его изречение, то я должен обратить внимание читателя на следующие страницы, где все рассуждение почтенного оргиаста выписано целиком во всей своей неприкосновенной прелести. А делать это два раза я считал и считаю излишеством {2}.

** Курсив мой. В. С.

*** Тоже.

215

жется, с тем же родником, как и Пифия {4}, когда она садилась на треножник. "В расщелине скалы была дыра, в которую выходили серные одуряющие пары", – записано о дельфийской пророчице. И они все, т. е. эти три писателя, побывали в Дельфах и принесли нам существенно древнее, но и вечно новое, каждому поколению нужное, языческое пророчество. Есть некоторый всемирный пифизм не как особенность Дельф, но как принадлежность истории и, может быть, как существенное качество мира, космоса. По крайней мере, когда я думаю о движении по кругам небесных светил, я не могу не поправлять космографов: "хороводы", "танец", "пляска" и в конце концов именно "пифизм" светил, как свежая их самовозбужденность "под одуряющими внешними парами". Ведь и подтверждают же новые ученые в кинетической теории газов старую картезианскую гипотезу космических влекущих "вихрей". Этот пифизм, коего капелька была даже у Ломоносова:

Восторг внезапный ум пленил {5}

и была его бездна у Державина: он исчез, испарился, выдохся у Пушкина*, оголив для мира и поучения потомков его громадный ум. Да, Пушкин больше ум, чем поэтический гений. У него был гений всех литературных поэтических форм; дивный набор октав и ямбов**, которым он распоряжался свободно; и сверхстарческого ума – душа как резонатор всемирных звуков.

Ревет ли зверь...

Поет ли дева...

На всякий звук

Родишь ты отклик {6}.

Он принимал в себя звуки с целого мира, но пифийской "расщелины" в нем не было***, из которой вырвался бы существенно для мира новый звук и мир обогатил бы. Можно сказать, мир стал лучше после Пушкина: так многому в этом мире, т. е. в сфере его мысли и чувства, он придал чекан последнего совершенства. Но после Пушкина мир не стал богаче, обильнее. Вот почему в звездную ночь:

– Барин всю ночь играл в карты****

* Курсив мой. В. С.

** Тоже.

*** Тоже.

**** Разумеется ночь, после которой Гоголь в первый раз пришел к Пушкину и услышал от его слуги этот ответ. Почему г. Розанов считает эту ночь звездною – совершенно неизвестно.

216

– и, кто знает, не в эту ли и не об этой ли самой ночи Лермонтов написал*:
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит".

Соловьев В. Особое чествование Пушкина filosoff.org
Остановимся на минуту. Вот характерная черта: в ней весь писатель. Говорю не про Лермонтова, а про Розанова. Он спрашивает, т. е. в вопросительной форме догадывается: кто знает, не в эту ли и не об этой ли самой ночи (когда Пушкин играл в карты) Лермонтов написал свое стихотворение "Выхожу один я на дорогу". Можно подумать, что биография Пушкина и Гоголя, хронология лермонтовских стихотворений – все это предметы, "покрытые мраком неизвестности". "Кто знает"? Да ведь всякий, если не знает, то по надлежащей справке легко может узнать, когда именно Гоголь познакомился с Пушкиным и к какому именно времени относится лермонтовское стихотворение, а, узнавши это, всякий может видеть, что дело идет о двух фактах, разделенных долгими годами, и что осенняя петербургская ночь, которую Пушкин просидел за картами, никак не могла быть той самой сияющею ночью, которая много спустя после смерти Пушкина вдохновила Лермонтова среди кавказской пустыни {7}. Что же такое этот вопрос: "кто знает"? Право, я не буду теперь слишком удивлен, если какой-нибудь "оргиастический" мыслитель печатно предъявит в одно прекрасное утро такой, например, вопрос: "кто знает, та ночь, в которую родился Мухаммед, не была ли она та самая Варфоломеева ночь, когда Александр Македонский поразил мавританского дожа Густава Адольфа на равнине Хереса, Малаги и Портвейна". И если бы еще отсутствие реальной правдивости в соображениях г. Розанова заменялось каким-нибудь идеальным смыслом, хотя бы фантастическим. А то ведь чем обогащается ум и сердце при замечании, что в ту ночь, когда Пушкин играл в карты, Лермонтов, может быть, написал стихотворение "Выхожу один я на дорогу"? Как единичное сопоставление, это было бы так же малоинтересно, как и то, что, когда Пушкин писал "Роняет лес багряный свой убор", Гоголь, может быть, строил гримасы какому-нибудь своему нежинскому профессору, а Лермонтов бегал за своими кузинами {8}. А если бы сопоставление г. Розанова можно было обобщить, т. е. что Пушкин будто бы постоянно играл

* Курсив мой.

217

в карты по ночам, а в это время его якобы антиподы, которых "нудило" к перу и письменному столу, прилежно занимались поэзией, то ведь если бы этим что-нибудь доказывалось, то разве только прямо противоположное тому, к чему клонится вся заметка г. Розанова, – доказывалось бы, что Пушкин был, подобно Моцарту, "гуляка праздный", но, очевидно, гениальный, если постоянная игра и гуляба с приятелями не помешала ему дать в поэзии то, что он дал, а его три-четыре антипода оказались бы, вроде Сальери, художниками трезвыми и усердными, но не столь гениальными. Между тем г. Розанов стоит как раз на том, что Пушкин был более трезвый ум, нежели творческий гений, тогда как те его три-четыре преемника выставляются какими-то вдохновенными пифиями (что, однако, не мешало у Гоголя "надуманности" и "искусственности" его творений).

Но я опять боюсь, не взвести бы чего лишнего на г. Розанова и спешу к его *ipsissima verba** в заключении его заметки о Пушкине:

"Пушкин, по многогранности, по все-гранности своей – вечный для нас и во всем наставник. Но он слишком строг. Слишком серьезен. Это – во-первых. Но и далее, тут уже начинается наша правота: его грани суть всего менее длинные и тонкие корни и прямо не могут следовать и ни в чем не могут помочь нашей душе, которая растет глубже, чем возможно было в его время, в землю, и особенно растет живее и жизненнее, чем опять же было возможно в его время и чем как он сам рос. Есть множество тем у нашего времени, на которые он, и зная даже о них, не мог бы никак отозваться; есть много болей у нас, которым он уже не сможет дать утешения; он слеп, "как старец Гомер", – для множества случаев. О, как зорче... Эврипид, даже Софокл; конечно – зорче и нашего Гомера Достоевский, Толстой, Гоголь. Они нам нужнее, как ночью, в лесу – умелые провожатые. И вот эта практическая нужность создает обильное им чтение, как ее же отсутствие есть главная причина удаленности от нас Пушкина в какую-то академическую пустынную и обожание. Мы его "обожили"; так поступали и древние с людьми, "которых нет больше". "Ромул умер"; на небо вознесся "бог Квирин". Прекрасно. Когда г. Розанов говорит, что Пушкин нам не нужен, то вопрос может быть только о точном определении

* Точнейшее слово (лат.) – Ред.

218

тех "мы", от имени которых он это говорит. Но во всяком случае ненужность Пушкина для этих "мы" неужели происходит от того, что он был слишком строг, слишком серьезен? Может быть, эти слова имеют здесь какой-нибудь особый смысл – а в обыкновенном смысле откуда бы взяться излишней строгости и серьезности у того Пушкина, которого сам г. Розанов несколько выше

характеризует так:

"Ночь. Свобода. Досуг:

- Верно, всю ночь писал?

- Нет, всю ночь в карты играл.

Он любил жизнь и людей. Ясная осень, даже просто настолько ясная, что можно выйти, пусть по сырому грунту, в калошах, - и он непременно выходил. Нет карантина, хотя бы в виде непролазной грязи, - и он с друзьями. Вот еще черта различия: Пушкин всегда среди друзей, он - дружный человек; и применяя его глагол о "гордом славянине" (?) и архаизм исторических его симпатий, мы можем "дружный человек" переделать в "дружинный человек". "Хоровое начало", как ревели на своих сходках и в неуклюжих журналах славянофилов".

Вот я, кажется, привел все существенное из увенчанных драконом излияний г. Розанова. О Пушкине мы здесь, конечно, ничего не узнаем. Ничего не узнаем и о противоположных будто бы Пушкину позднейших русских писателях. Излияния г. Розанова дают достаточное понятие лишь об одном писателе - о нем самом {9}. С удивительною краткостью и меткостью характеризует он свое собственное творчество, воображая, что говорит о Лермонтове:

"Что пишу? Что написал? Даже и не разберешь: какой-то набор слов, точно бормотанье пьяного человека".

Он называет это оргиазмом, или пифизмом, и считает чем-то "ужасно великолепным", и хотя ему совсем не удалось показать, чтобы Гоголь и Лермонтов, Достоевский и Толстой были в этом виновны, зато себя он обнаружил вполне как литературного "оргаста", "пифика", корибанта, а проще юродствующего. Русский народ знает и очень почитает "Христа ради юродивых". Конечно, не к их числу принадлежит этот писатель. Он, впрочем, не скрывает, ради чего и во имя чего производятся его литературные юродства: он указывает на языческую пифию, на ее дельфийскую расщелину, где "была дыра, в которую выходили серные одуряющие пары". Вдохновляющая сила идет здесь во всяком случае откуда-то снизу. И вот почему Пушкин "не нужен": в его поэзии (увы! только в поэзии) сохранилось слишком много вдохновения, идущего сверху, не из расще

219

лины, где серные, удушающие пары, а оттуда, где свободная и светлая, недвижимая и вечная красота.

Пришел сатрап к ущельям горным

И видит: тесные врата

Замком замкнуты непокорным,

Грозой грозится высота.

И, над тесниной торжествуя.

Как муж на страже, в тишине

Стоит, белеясь, Ветилуя

В недостижимой вышине {10}.

В недостижимой - для г. Розанова не менее, чем для Олоферна. И для того, и для другого поэзия не идет дальше пляшущих сандалий Юдифи, а Ветилуя* - это "слишком строго", "слишком серьезно". И вот почему Пушкин причтен к тем, "которых нет больше". Не то чтобы и у Пушкина не было "пляшущих сандалий", - на иной взгляд, у него их даже слишком много, - но чувствует г. Розанов, - и я рад отдать должное верности его чутья в этом смысле, - чувствует он, что Ветилуя-то в этой поэзии перевешивает и что это образ настоящей, неподдельной, не дельфийской Ветилуи! Ну, и не нужно Пушкина. А те три-четыре, хотя г. Розанов безбожно раздул их "пифизм", но и тут чутье все-таки не обмануло его: розановского "пифизма", положим, в них мало, но и Ветилуи настоящей почти не видеть. Гоголь и Достоевский всю жизнь тосковали по ней, но в писаниях их она является более делом мысли и нравственного сознания, нежели прямого чувства и вдохновения, притом главным образом лишь по контрасту с разными Мертвыми душами и Мертвыми домами; Лермонтов до злобного отчаяния рвался к ней - и не достигал, а Толстой подменил ее "Нирваной", чистой, но пустой и даже не белеющей в вышине.

Каким образом отвержение "ненужного" Пушкина сошло в "Мире искусства" с его идолопоклонническим представлением? Дело в том, что г. Розанов хотя мало смыслит в красоте, поэзии и Пушкине, но отлично чувствует дельфийскую расщелину и дыру с серными парами; поэтому он по инстинкту отмахивается от Пушкина, - это цельное явление в своем роде. Что же касается до гг. Мережковского и Минского, то при больших литературных заслугах (хорошие переводы из древних) они лишены "пифической" цельности и в этой области более поверхностны. Несомненный

* Значит "дом божий".

220

Соловьев В. Особое чествование Пушкина filosoff.org
вкус к "пифизму" и "оргазму" соединяет их с г. Розановым, но вместе с тем сами поэты, они искренно восхищаются и анти-пифической поэзией Пушкина. То же, кажется, должно сказать и о четвертом мушкетере этой символической компании.

У почтенного г. Мережковского его пифизм или оргиазм выражается только формально – в неясности и нечленораздельности его размышлений. И г. Мережковский мог бы спросить себя: "Что пишу? что написал?" Во всяком случае дело идет у него не о Пушкине, а о предметах посторонних – прежде и больше всего о всемогуществе издателя "Нового времени", который назван великим магом {11}. Все это, конечно, ирония, но точный смысл ее совершенно неясен. А затем г. Мережковский указывает на контраст между теперешним всероссийским чествованием Пушкина и тем, что происходило еще "вчера". А именно вчера три писателя высказали о Пушкине мнения, которые не нравятся г. Мережковскому. Но в чем же тут контраст между "вчера" и "сегодня"? Ведь ни один из этих писателей от своих "вчерашних" мнений не отказался "сегодня", а с другой стороны, эти мнения были такими же одинокими в русской печати "вчера", как остаются и сегодня. Мнение Спасовича сейчас же было приписано его польской предвзятости, мнение Толстого тотчас же подверглось почтительному замалчиванию, как оно замалчивается и теперь, а что касается до меня, то "Судьба Пушкина" при первом своем появлении уже вызвала единодушную брань всей печати {12}. В чем же та перемена и тот контраст, на которые указывает г. Мережковский? Это указание, как и все прочее, есть только дань "пифизму" и ничего более.

Настоящее слияние между "пифизмом" и свободною от него поэзией Пушкина произведено г. Минским. Прием поражает своею простотою и смелостью. Чтобы сделать Пушкина своим единомышленником, г. Минский приписал ему свои мысли, вот и все. Победа эстетического идеала над этическим – вот одна из творческих идей Пушкина, смело утверждает г. Минский. Победа инстинкта над рассудком – вторая из них. Г-н Минский указывает на Онегина, пожелавшего счастья именно тогда, когда для его достижения понадобилось разрушить семейный мир любимой женщины и опозорить ее в глазах света. Давно ли пожелание называется победой? Неужели г. Минский думает, что его читатели совсем забыли Пушкина, не помнят даже, что в его романе победа осталась не за "эстетическим" Онегиным, а за "этической" Татьяной, весьма позорно побившею героя?

221

Правда, г. Минский вспоминает и о другой победе Онегина, об убийстве Ленского... (стр. 25)

Три завета нашел г. Минский у Пушкина. Первый завет – противоположение поэзии рассудку и нравственности. "Второй завет Пушкина гласит, что художник призван не с тем, чтобы баюкать и согреть души людей, а с тем, чтобы вечно их мучить и жечь". Сущность третьего и самого великого завета – равнодушие к добру и злу.

Довольно, однако. Я думаю, вы согласитесь, что я испытал двоякую целесообразность. Как будто какая-то благодетельная сила хотела оказать мне двойную услугу: давая мне способ помянуть Пушкина наилучшим образом, она вместе с тем избавила меня от всякого, хотя бы невольного и отдаленного участия в этом покушении – сбросить "белеющуюся Ветилу" нашего несравненного поэта в темную и удушливую расщелину Пифона.

222

КОММЕНТАРИИ: ОСОБОЕ ЧЕСТВОВАНИЕ ПУШКИНА

Впервые напечатана в "Вестнике Европы", 1899, No 7, с. 432–440.

{1} Журнал "Мир искусства" выходил в Петербурге в 1899–1904 гг.

Организатором и редактором-издателем был С. П. Дягилев. Объединение художников и литераторов, названное именем журнала, играло заметную роль в художественной жизни России. Соловьев не разделял эстетических принципов и общественно-литературных пристрастий ведущих авторов журнала (А. Н. Бенуа, Д. В. Филозофов, В. В. Розанов, Д. С. Мережковский), но

401
от сотрудничества в нем не отказывался. Незадолго до "пушкинского" номера "Мира искусства" (1899. No 13–14), вызвавшего резкое неприятие не одного Соловьева, в журнале появилась его работа "Идея сверхчеловека" (1899. No 9). После статьи "Особое чествование Пушкина", которую литераторы журнала встретили крайне враждебно, связи Соловьева с "Миром искусства" прервались. На страницах журнала ему отвечал философ, который иронизировал над автором "Судьбы Пушкина", взявшимся защищать поэта от его подлинных ценителей (1899. No 16–17).

{2} Позднейшее примечание, которого нет в "Вестнике Европы". Печатается по тексту 9-го тома Собрания сочинений В. С. Соловьева в 10 томах.

{3} М. Ю. Лермонтов, "Журналист, читатель и писатель" (1840).

{4} Древнегреческая жрица-прорицательница в храме Аполлона в Дельфах.

Соловьев В. Особое чествование Пушкина filosoff.org
{5} М. В. Ломоносов, "Ода блаженные памяти государыне императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года" (1739).

{6} А. С. Пушкин, "Эхо" (1831). Неточная цитата:

Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом
На всякий звук

Свой отклик в воздухе пустом

Родишь ты вдруг...

{7} История о первой попытке Гоголя познакомиться с Пушкиным ("кажется, в 1829 году") рассказана П. В. Анненковым в "Материалах для биографии А. С. Пушкина". Стихотворение Лермонтова "Выхожу один я на дорогу..." написано в 1841 г.

{8} Стихотворение Пушкина "19 октября", первую строку которого приводит Соловьев, относится к 1825 г.

{9} Отношение Соловьева к творчеству Розанова можно определить как нетерпимое. В 1894 г. он написал ядовитую заметку "Порфирий Головлев о свободе и вере", направленную против Розанова, литератора, пером которого водит дух щедринского Иудушки.

{10} Соловьев неточно цитирует строки стихотворения Пушкина "Когда владыка ассирийский..." (1835), сюжет которого восходит к неканонической "Книге Юдифи". Полководец Олоферн был послан ассирийским царем Навуходоносором для усмирения непокорных иудеев, засевших в крепости Ветилуя. Молодая вдова Юдифь, явившись к Олоферну, добилась его расположения, а затем отрубила ему голову его собственным мечом.

{11} Издателем газеты "Новое время" был А. С. Суворин.

{12} Видный сотрудник "Вестника Европы" В. Д. Спасович в статье "Д. С. Мережковский и его "Вечные спутники" подверг обстоятельной критике "индивидуализм" и "антиобщественное направление" Мережков

402

ского, который "сочиняет своего Пушкина по своему вкусу, по своему подобию и выдвигает те подмеченные им признаки, которые наиболее соответствуют его собственной психической организации" (Вестник Европы. 1897. No 6. С. 597). Спасович подчеркивал именно общественное значение поэзии Пушкина. Под "мнением Толстого" Соловьев имеет в виду слова из трактата "Что такое искусство?", напечатанного в 1897 -1898 гг. Л. Толстой писал, что "Пушкин был человек больше чем легких нравов, что умер он на дуэли, т. е. при покушении на убийство другого человека, что вся заслуга его только в том, что он писал стихи о любви, часто очень неприличные".

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!